

## УГОЛЬКИ ВОСПОМИНАНИЙ<sup>1</sup>

**Н.И. Кузнецова**

*Российский государственный гуманитарный университет*

**Аннотация:** *Статья – в фокусе интеллектуальной автобиографии – рассматривает мировоззренческое развитие молодого человека, окончившего философский факультет МГУ в 1970 году. Представлен круг чтения и общения того периода, рассказано об тех выдающихся философах, публицистах и журналистах периода 60–70-х годов XX века, под влиянием которых происходило его профессиональное становление. Особое внимание уделено рассказу о своеобразии работы Московского методологического кружка, лидером которого был Георгий Щедровицкий. Основная задача кружка состояла в том, чтобы поставить под рефлексивный контроль все акты рассуждений и мыслительных операций: номинации, дефиниции, дескрипции, построение онтологических моделей и теоретических конструкций и т.п. В какой-то мере это напоминало поиски западной аналитической философии и было в Советском Союзе делом «подозрительным» в идеологическом смысле. Освещены основные общественно значимые события тех времён, которые определяли формирование социально-политических взглядов молодёжи, не принимающей советскую идеологию.*

**Ключевые слова:** *философское образование, гносеология, эпистемология, философия науки, рефлексия, науковедение, историческая реконструкция, исторический процесс, Московский методологический кружок.*

Воспоминания о юности всегда болезненны. Так и хочется повторить широко бытующую ироническую фразу: «в прошлом у него было блестящее будущее». Однако, взобравшись на свою возрастную высоту, вдруг сталкиваешься с тем, что кому-то и почему-то интересно это прошлое. Тебя обращают к воспоминаниям, а они – как угольки, то вспыхивают и светятся теплом, то ранят ожогами. Начинаешь, как сейчас, отвечать на вопросы собеседника (пусть даже анонимного интервьюера), понимая все более ясно, что твоя судьба индивидуальна и обобщать собственный опыт, скорее всего, не следует, хотя собеседник подталкивает к этому. Разве я могу судить о целом поколении, когда личные траектории столь различны? Что могу сказать о своём поколении, если в моей молодости референтной группой были исключительно старшие товарищи и коллеги, а мнение моих одноклассников и одноклассников вообще оставалось за кадром... Как так получилось? Впрочем, такое осознание пришло вдруг при попытке честно ответить на первый вопрос – чем семидесятники похожи

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в: *Философские поколения...* 2022: 456–476.

или не похожи на поколение шестидесятников, а также на другие философские поколения? Постараюсь учесть все заданные вопросы, хотя последовательность моих ответов будет такой, чтобы «угольки воспоминаний» могли сложиться в сколь-нибудь связный рассказ.

Прежде всего следует уточнить временные рамки. Как известно, «времена не выбирают». Если судить по году окончания философского факультета МГУ (для меня это 1970-й), то меня следует отнести к семидесятиникам. Однако моё личностное формирование и образование произошло на 60-е годы XX века. Годы эти в истории страны отмечены целым рядом событий, имён, волнений, которые получили хрестоматийное именование «оттепели». «Хрущевской оттепели», хотя результаты социального процесса, названного в народе в его честь, привели к тому, что Никита Сергеевич был удалён от власти – бескровно, но жёстко, выразительно и показательно. Это произошло на октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964 года. К тому моменту я была студенткой первого курса философского факультета. Юная душа моя встретила это событие чувством радостного ожидания перемен. Перемены, каких вовсе не ожидали, не заставили себя ждать. Оттепель сменилась резким похолоданием, наступали турбулентные времена.

### *Точки выбора*

Что уже лежало в копилке моего личного экзистенциального опыта? Чем определялись реакции на происходящее? Какие точки выбора (если таковые были) уже состоялись? Бесспорно, могу назвать три такие точки. Во-первых, выбор вектора образования. Получилось так, что годам этак к 15 во мне начало расти отчётливое желание разобраться с тем, как люди мыслят? Есть ли правила мышления? Почему люди не соблюдают этих правил, хотя, как и в грамматике, правила давно сформулированы? Примерно такой круг вопросов, навеянных, как понимаю, чтением учебника по логике С.Н. Виноградова и А.Ф. Кузьмина. Такая небольшая серо-голубая книжечка, очень скромно оформленная, почему-то с маленькой красноармейской звёздочкой посередине обложки. Учебник для средних советских школ! Я обнаружила его в домашней библиотеке, вероятно, такой предмет был у моих старших братьев. Мне показалось, что люди вокруг живут не так, «как надо», просто потому, что постоянно нарушают правила мышления. Выбор факультета определялся именно желанием ответить на такой, достаточно узкий вопрос. Я немножко колебалась: психология или философия? Но факультет в те времена был единым: философский факультет МГУ имел два отделения (философии и психологии). То, что учиться можно исключительно в Московском университете, постулировалось моим отцом. Мой папа – известный советский философ Иван Васильевич Кузнецов (1911–1970); с 1946 года до последнего своего часа работал в Институте философии. Он сам, окончив до войны физфак МГУ, просто не мыслил другого вуза для своих детей. Правда, его идея состояла в том, что хорошее («настоящее») образование – это именно физический факультет. Потом, как говорится, делайте что хотите, но наилучшее образование – это физфак. Прибавлю, что я была пятым ребёнком (сестра и три брата). Все кузнецовские дети поступали на физфак! Сестра, правда, все же перешла на втором курсе на филологический, а один из братьев по разным обстоятельствам окончил физфак в педагогическом, стал учителем физики в средней школе. Только я, младшенькая, призналась, что хочу нарушить семейную традицию и поступать на философский. И папа не стал возражать.

Во-вторых, как ни удивительно, уже к 16 годам я стремительно становилась «антисоветски настроенной». Много различных обстоятельств формировали неприятие советской системы, не буду даже пытаться их перечислять. Подобные настроения я с родителями не обсуждала (зачем их волновать?). У меня была та среда, в которой эти взгляды были нормальными, естественными. Вначале это были пятеро моих одноклассников, а чуть позднее – журналисты (я была активным участником радиопередачи для подростков «Ровесники», ещё чуть позже – писала разные материалы для школьного отдела «Комсомольской правды»). Мы, тинейджеры, постоянно спорили: как могло так получиться? откуда такой зигзаг исто-

рии? кто именно виноват? как выходить из тупика? Эти темы были постоянным фоном нашей юношеской тусовки, добывания запрещённой литературы, жадного ночного чтения, распросов тех, кто что-то мог сказать по этому поводу или сформулировать особенности «Системы».

Третья важная точка выбора моего способа образования не была продиктована какими-то личными устремлениями. Задним числом я хорошо понимаю, что именно случайные обстоятельства стали для меня теми, которые называют «судьбоносными». Весной 1964 года я покинула родную школу, не хотела осенью садиться за парту в 11-й раз. Родители благословили меня на рискованный шаг – сдать выпускные экзамены экстерном. В те времена для допуска к экстернату надо было предъявить справку с места работы. Помогла мама одноклассника, и я начала собственную трудовую карьеру в качестве помощницы медсестры в «кишечном кабинете». Моя трудовая книжка открыта в мае, экзамены (17 предметов) продолжались весь июнь. Получив вожделенный «аттестат зрелости», я покинула должность медработника и отправилась подавать документы в приёмную комиссию философского факультета МГУ. Каково же было моё изумление, когда выяснилось, что для обучения на дневном отделении по специальности «философия» необходимо два года «пролетарского стажа»!.. Иначе говоря, документы можно подать только на вечернее или заочное отделение. Необходимость работать меня не смущала, опыт имелся; я тут же устроилась секретарём-машинисткой в родную школу. По юношеской бесхитростности и неопытности я решила поступать на заочное, чтобы уж, раз так получилось, посещение занятий не обернулось «обязаловкой». А то, что конкурс на заочном отделении – десять человек на место (поступает весь Советский Союз), а на вечернем только два (те, кто живёт в Москве и Подмосковье), я попросту не приняла во внимание. Услышав о таком конкурсе, я просто сжала зубы и сказала: «Надо сдать максимально хорошо, остальное меня не касается». И у меня получилось. В день моего семнадцатилетия стало известно, что я зачислена. Родители в этот авантюрный план не вмешивались, только порадовались: вот и младшая стала студенткой! Им нравилась моя активная самостоятельность.

Прибавлю, что факультет располагался на Моховой, в старомодном четырёхэтажном жёлтом здании позади «Националя» (там сейчас находится обретший автономность психфак). И это местечко, впитавшее энергию подлинной университетской ауры, я не просто любила – обожала. Мне повезло учиться там, где романтика пространства легко преодолевала тухлость советского времени. Казалось, что я учусь, листаю книги, мечтаю о свершениях и обдумываю житье вместе с Сашей Герценом и Николенькой Огаревым.

### *Бульон событий*

За годы моего пребывания в Московском университете (1964–1970) случилось так много разного – такое нагромождение происходящего в личной и социальной жизни, что мне самой сейчас это представляется невероятным. Столь мощный прессинг событий более не повторился в моей жизни. Но здесь уже нет места ностальгической теплоте, одни ожоги.

В социальной жизни началась, как говорилось выше, турбулентность, всё перемешивающие вихри. Снятие Хрущева, сдвиг на жёсткие идеологические акценты. С 1966 года цепочка судебных тяжб – сначала дело Синявского и Даниэля, потом – Гинзбурга и Галанскова. Появились «подписанты», были и аресты по этим делам. В 1968 году – ввод войск в Чехословакию, драма автора Пражской весны Александра Дубчека. Все это на наших глазах, среди фигурантов тех дел много знакомых. Разноголосица мнений. Наше лихорадочное чтение самиздата и отчаянные попытки преодолеть «глушилки», чтобы донеслись «голоса» из других миров. Ощущаемое присутствие «стукачей», постоянное ожидание доносов. Сознать необходимость «держат язык за зубами», но не очень-то получается. Обязательно сорвёшься и проболтаешься – то неправильный анекдот расскажешь, то лишней информацией

поделишься. Не могу сказать, что я «прозревала», отказывалась от иллюзий. Их практически не было, просто в разных жизненных сферах я проходила проверку на прочность.

Одна из проверок пришлось на позднюю осень 1967 – вызов в КГБ. Дело обычное, стандартное – майор, пригласивший меня на Кузнецкий Мост (теперь этого трёхэтажного старенького здания не существует), проявил замечательную осведомлённость о моей политической болтовне с однокурсниками. Я не отрицала, что читала письмо Федора Раскольникова к партии и штудировала «Новый класс» Милована Джиласа (проболталась в студенческой курилке). Майор предложил мне ответственную и почётную для комсомолки (так он выразился) обязанность «информатора». Почти сразу перешёл к угрозам. Я упрямо отказывалась, он настаивал, картинно протягивая руку к телефону: «Придётся Вашему папе позвонить. Жаль, жаль, у него ведь тяжёлый инфаркт. Любимая дочка, а учиться не сможет...» Корчась от бессилия, я стала подавать записки в таком духе: «С Сережей Ивановым обсуждали теоретические проблемы исторического материализма – такие и такие. С Витей говорили о закономерностях развития науки, а также о классификации логических выводов...» Майор своей неприязни к моим нехитрым фокусам не скрывал, психологически атаковал с разных точек. Я, стараясь преодолеть страх, протоколировала его «методы» и анализировала их, чтобы потом осмыслить и обменяться опытом. Про вызовы в органы, несмотря на подписку о неразглашении, сообщила всем, кому могла (начиталась советов от тех, кто уже влипал в аналогичную ситуацию). Побывала я у своего майора раза три, и спасла меня беременность, о чем ему торжествующим тоном сообщила, объясняя, что теперь мои контакты с однокурсниками будут ограничены, не до того мне. Подписывая пропуск, он выразительно сказал: «Ладно, прощайте. Может, ещё увидимся как-нибудь. То ли Вы лекцию у нас читать будете, то ли, – со значением пришёл язык, – по-другому будет». – «Ну уж», – неопределённо промычала я, что тут скажешь? Не поспоришь. Чувства победы не было, холодок по спине пробежал: сегодня выкрутилась, а дальше?

Важнейшее в личной жизни – первая ослепительная любовь (конечно, несчастная), замужество (не по любви, а «с горя»), рождение сына (1968), домашние споры и ссоры, приведшие к разводу, внезапная скоропостижная смерть отца (1970).

И всё же определяющими жизнь событиями, как видится, стали другие – те, в которых пересекалось нечто социально-историческое и индивидуальный пунктир. Отмечу три встречи-события, и эти «угольки», в отличие от прочих, дарят свет самой глубокой и искренней признательности стихии прошлого: ведь всё могло сложиться иначе.

Первое событие – устройство весной 1965 года на постоянную работу в Институт истории естествознания и техники АН СССР. Тут мне папа помог, хотя должность и зарплата у меня была меньше меньшего: я числилась библиотекарем с зарплатой в 64 рубля. Но ИИЕТ тех времён поразил моё воображение – и книги, которые стояли кругом в больших застеклённых шкафах, и люди совершенно необыкновенные. Будто в другой век попала. Я появилась в институте и была принята как «сын полка» – старательная близорукая девочка-очкарик 17 лет с толстой косой, перекинутой через плечо. Работу дали редакторскую – готовить к печати сборники реферативных работ иностранной литературы по истории науки и техники. Это было мне не трудно и весьма интересно. Обязательного ежедневного присутствия не требовали, я могла ходить на любые лекции, семинары, заседания, исполняя свои обязанности тогда, когда удобно, лишь бы соблюдался издательский график.

Второе событие свершилось в первом семестре первого учебного года: преподаватель политэкономии капитализма Вероника Александровна Андриевская предложила желающим вечерникам и заочникам вести семинары, на которых будем читать «Капитал» К. Маркса. И заявила: «Не надо писать обычных конспектов! Тому, кто сумеет к концу учебного года нарисовать на листе ватмана внутреннее устройство “Капитала”, я поставлю не просто пятёрку, но пятёрку с плюсом». Нетрудно догадаться, что единственным исполнителем этого задания оказалась я. И «Капитал» открылся мне не просто в своей железной логике, но и как

абсолютно неподражаемое музыкальное произведение. До сих пор я переживаю восторг такого открытия. На следующий год необходимо было изучить политэкономиию социализма. Я достала учебник (неплохо, кстати, написанный и даже снабжённый довольно остроумными иллюстрациями), погрузилась в текст и... пришла в ужас. «Такого быть не может!» После того, что нам открылось в политэкономии капитализма, изученной по Марксу, построения политэкономии социализма выглядели не просто бессвязными, но противоречивыми и абсурдными. Я помчалась к Веронике Александровне. Формально у нас был другой преподаватель. Однако она сразу поняла, что со мной произошло, увидела моё отчаяние и сказала: «Тише, тише! Возьми, пожалуйста, “отрывной листок” и приходи». Заочникам разрешалось сдавать экзамены не только в сессию. И я примчалась с нужной ведомостью, она поставила «отлично», не задав ни единого вопроса. Я была спасена, скандала не случилось. Всё-таки МГУ даже в те времена дарил возможность встречи с незаурядными людьми.

И главное – тот эпизод, который превратил мою встречу с Андриевской в поистине судьбоносное событие. Дело было так. После успешного завершения второго года обучения на заочном отделении я написала заявление о переводе на дневное. Все условия по приобретению «пролетарского стажа» были выполнены, отметки у меня хорошие и отличные, наверняка переведут. Был конец августа, я шлялась по Москве. Шла от «Краснопресненской» по Садовому кольцу в сторону американского посольства. Хотела дойти пешком малолюдными по-летнему московскими улицами и переулками до любимой Моховой. На углу Большого Девятинского переулка вдруг встречаю Веронику Александровну с продовольственной сумкой в руках (она там жила). Увидев меня, Андриевская обрадовалась самым искренним образом. «Наташа! Как дела?» – «Да вот, – отвечаю, – иду подавать заявление о переводе на дневное». Она всплеснула руками. «Да ты что! Да разве можно?..» Я растерялась. «Разве это плохо? Разве дневное образование не лучше заочного?» Она просто обрушилась на меня. «Ты не понимаешь, что говоришь! Ведь ты работаешь в Институте истории естествознания и техники? Ты понимаешь, какая у тебя среда? Разве ты встретишь на факультете таких философов? Кто тебя будет там учить? Чему? Критиковать буржуазную идеалистическую философию? Как у тебя с комсомолом?» Я начала догадываться, о чем речь. «В ИИЕТе хорошо, – говорю, – нас пять человек комсомольцев, мы по очереди выбираем друг друга секретарями, взносы сдаём, все дела». – «Вот видишь! А тут ведь, пожалуй, ещё и в партию начнут принимать. Ты была когда-нибудь на партийном собрании?..» Такого опыта у меня не было, но я представляла, что она имеет в виду. И за десять минут разговора, после таких, в общем понятных, аргументов я почувствовала, что могла совершить непоправимую глупость. Мне аж стыдно стало: как сама не догадалась? Дойдя до ближайшего телефона-автомата, позвонила папе: «Знаешь, я передумала. Я не буду переходить на дневное. Останусь в ИИЕТе». И папа почему-то не возразил ни единым словом (может, он всё понимал, но не хотел со мной говорить столь откровенно?). Так Вероника Александровна изменила весь ход моего формального образования. Оценивая с моей возрастной высотки тогдашнее решение, могу сказать: случайная встреча на углу Девятинского переулка стала в полном смысле слова providенциальной. Чудится в том казусе нечто в духе булгаковской конструкции «Мастера и Маргариты». Прибавлю, что Вероника Александровна (1925–2005) действительно была совершенно необыкновенным человеком. Я счастлива, что совсем недавно вышла большая, отлично подготовленная книга о ней [Вероника Андриевская... 2016]. Только теперь я узнала, что она – потомок славной династии купцов Манухиных из города Кашин Тверской губернии. Во время войны попала в школу радистов, служила в Разведывательном управлении Генштаба, окончила Институт военных переводчиков, стала педагогом в Московском университете. Воспоминания её учеников полны восторженных слов: «Мой счастливый билет», «Нам, своим ученикам, Вероника Александровна подарила свою жизнь», «Смыслом жизни для неё осталось одно – мыслить!» и ещё многое в таком же духе. В 1995 году Андриевская была удостоена звания «Человек года» Русского биографического общества в номинации «Культу-

ра» за достижения в области образования. Как хорошо, что такой человек отмечен наградой признания заслуг ещё на грешной земле! Такое редко бывает.

Третье важнейшее событие – обретение Учителя. Об Учителе с большой буквы слова мечталось ещё со школьных лет. Должен был появиться тот, за «плащом» которого пойдёшь, вообще не спрашивая куда. Так манила нас Марина Цветаева, стихами которой бредили, добывали её сборнички у букинистов, спекулянтов, сами, что могли, переписывали и дарили друг другу. Есть у неё стихотворный цикл об ученичестве. «Есть некий час – как сброшенная клажа: / Когда в себе гордыню укротим. / Час ученичества, он в жизни каждой / Торжественно неотвратим». Пришел тот час ко мне осенью 1966 года, когда я забрела на лекции Георгия Петровича Щедровицкого. Невообразимое чудо – декан нашего факультета Василий Сергеевич Молодцов, идеологически очень правоверный человек, вдруг разрешил столь неинституциональному философу прочитать студентам семестровый курс по теории управления. Сказать, что Щедровицкий увлék за собой, – ничего не сказать. Заворожена, заколдована, очарована, закольцована!.. Его педагогическое гравитационное поле было не сопоставимо ни с каким другим. Завершив лекции у философов, Георгий Петрович тут же открыл цикл методологических обсуждений для студентов-психологов. В аудитории за ближайшим к лектору столом очутилась я. Слушатели менялись – приходили, уходили, я оставалась. Вскоре стала ходить на заседания Большого семинара в Институте психологии АПН, который располагался сзади университетской библиотеки им. Горького (идти влево от памятника Ломоносову). Пространство на Моховой обретало всё новые интеллектуальные измерения и дарило неожиданные ракурсы общения, в основном с людьми постарше меня. Иногда, словно очнувшись, возвращалась на землю и сдавала положенные экзамены. Как ни странно – всегда успешно. Даже заработала «красный диплом». В контексте тех юных лет диплом с отличием – это не важно, а так, само собой... Значимо то, что через пару лет я заслужила право считаться полноправным членом знаменитого Московского методологического кружка (ММК).

### *Мышление и социальное действие*

Попытки, отнюдь не робкие, советской интеллигенции 60-х годов повлиять на социальную ситуацию ни к чему не привели. Чёткий разрыв между мышлением и действием создал необходимый для внутреннего духовного роста вакуум. Как говорил Гамлет, «в мыслях своих я свободен». Иначе говоря, только в рациональном можно искать чаемую свободу. В каком-то плане всё упростилось, привело к сосредоточенности.

Вероятно, поиски рациональности и были общей чертой некоторой части философского поколения 60-х и даже 70-х годов, хотя «рациональное» со временем смещалось в сторону прагматического. Правда, это не сразу обнаруживалось, и часто подмену вообще не замечали. Но Георгий Петрович верил в какой-то «всемирный разум», и этим меня, что называется, «запрограммировал». Приведу несколько характерных разговоров с ним.

Оказалось, что Щедровицкий живёт совсем по соседству со мной – у метро «Сокол». Это давало мне привилегию иногда продлевать разговоры с Учителем, когда он, чтобы прогуляться после многолюдного семинарского действия, шел меня проводить. Был тёплый вечер, мы шли от Всехсвятской церкви через парк, мимо кинотеатра «Ленинград». Я стала доносить его мрачными вопросами. «На что Вы надеетесь? Как можно что-то изменить? ОНИ всё равно не слышат, достучаться невозможно! Это же СИСТЕМА, а не люди, у неё слуха вообще нет!» Он даже остановился. И сказал наиважнейшее для моего формирующегося самосознания (ведь мне всего 19):

Во-первых, всё-таки услышат. Есть слишком серьёзные общие для человечества проблемы – экологические, геополитические, технологические. Их нельзя не осознать, проблемы сами о себе говорят. Во-вторых, запомни: придёт момент, когда всё станет можно, –

можно говорить, предлагать, действовать. И тогда важно одно: что у тебя в голове? Какое у тебя мышление? Что ты предложишь? Заботься сейчас только об этом! И ни о чем другом.

Сказал – как отрезал. Раз и навсегда.

Напомню, что я пришла в ММК не только под влиянием гипнотического притяжения Учителя, но и для того, чтобы ответить на главный для меня вопрос – что такое мышление? Как люди мыслят и почему нарушают правила логического вывода? Я не ошиблась, я обнаружила в той семинарской практике необходимый эмпирический материал для настоящей гносеологической работы. «Мышление – это коллективный эффект, – говорил Учитель. – Следите за тем, как это происходит». Я училась наблюдать и протоколировать различие аргументации и смену позиций, причины непонимания или неприятия комментариев и задаваемых вопросов и тому подобное. Мышление воочию представало как мощный полифонический процесс, действительно не принадлежащий никому лично. Как объективный процесс! Гегелевские рефлексивные ходы совершались прямо передо мной на «лабораторном столе». Полный восторг! Я жадно записывала «ходы мысли», чтобы провести домашний анализ, как то делают шахматисты, отыграв партию.

Однажды Георгия Петровича спросили из зала: «Вы всё талдычите о мышлении, его правилах. Тогда дайте определение: что такое мышление?» Надо было видеть, как Учитель медленно, со значением развернулся в сторону спрашивающего, какое презрительное выражение появилось на его лице. «Дефиницию хотите? Она бессмысленна! Мышление – это образ жизни». Прозвучало как программный манифест. В другой раз Щедровицкого упрекнули в том, что он всегда рассуждает, апеллируя исключительно к рациональной философии. Но ведь ещё в XIX столетии философия разума сменилась философией жизни, что, вероятно, не случайно! И опять Учитель произнёс своё кредо весомо, как-то отчаянно серьёзно: «Мода постоянно меняет позиции и точки зрения, но рациональность, как показывает история, всегда возвращается на своё центральное место!»

Было ещё драматическое событие, которое могло так круто развернуть наши юные жизни, что... Даже не знаю, что тут сказать. В конце 1967 года несколько студентов, человек семь (в основном психологи, с которыми я дружила больше, чем с однокурсниками-философами), собрались в моей квартире, поскольку поутру собирались выйти на Пушкинскую площадь для молчаливой демонстрации протеста. Готовился судебный процесс по обвинению Гинзбурга и Галанскова в подрывной, антисоветской деятельности. Сценарий мирного протеста разработан известным диссидентом Александром Сергеевичем Есениным-Вольпиным. Следовало выйти с плакатами типа «Требуем справедливого рассмотрения дела». Встать небольшой группой внутри фонтана около памятника Пушкину (чтобы не упрекали, что мешаем уличному движению и создаём помехи москвичам). Конечно, заберут, отправят в «воронках» по милицеевским отделениям, но поступок будет совершён. Помню это чувство обречённости и жертвенной необходимости. Было не смешно. Вдруг раздался звонок, на пороге – Учитель. Откуда он узнал о нашем решении? Кто-то проболтался. Он просил не совершать задуманное. «Я столько лет работал над тем, чтобы появились люди мышления, столько сил потратил. Мышление – главная ценность. А вы получите волчий билет, лишитесь библиотек, книг, возможности ходить на семинары, работать по специальности. Даже образование прекратится, семинар обеднеет, если не будет закрыт. Вас просто вычеркнут из социальной жизни». Мы относительно долго сопротивлялись: «Но нельзя же молча идти к виселице, как в концлагере. Надо, пусть без надежды на успех, сопротивляться, нельзя же, идя к виселице, ещё и собственную верёвку нести...» Учитель настаивал, и мы поочередно сдавались, отказываясь от своего юношеского максимализма, но попутно расспрашивая, что же делать. Уже прощаясь, он сказал: «Нет, я понимаю, реагировать надо. Высказать свою позицию необходимо. Но это сделаю я, от лица всего Кружка. Я подпишу письмо». – «Вас исключат

из партии, лишат работы». Он хитро улыбнулся: «Ничего, я уже много книжек прочитал. Даже диссертацию защитил. А вас прошу – учитесь, работайте и постоянно тренируйте мышление!» Так мы остались дома, а Щедровицкий стал «подписантом» со всеми предсказуемыми последствиями.

Обращусь к прошлому: какое счастье, что нашим родителям всё это не стало известным! А для таких, как я, социальное действие совпало с мышлением. Иного не дано.

### *Касталия: слова и смыслы*

Замечательный перевод знаменитой книги Германа Гессе «Игра в бисер» появился в 1969 году. Теперь мы, постоянные участники семинаров ММК, обрели изумительной красоты притчу и столь необходимый для самовыражения романтический лексикон. Мы сразу опознали, что занимаемся «игрой стеклянных бус» – бесполезной магической деятельностью (методологическим мышлением). Мы признали, что живём в «фельетонистическую эпоху», но предательство Игры, которая суть квинтэссенция любой духовной деятельности и мерило интеллектуальной честности, недопустимо. Головокружительные слова:

Элита интеллектуальной молодёжи облюбовала Игры с рядами и диалогами формул. Игра была не только отдыхом и упражнением – она рождала концентрированное ощущение дисциплины духа; особенно математики отличались аскетической и спортивной виртуозностью и строгостью формы в Игре, находя в ней истинное наслаждение, что в немалой степени помогло им тогда уже отказаться от мирских радостей и стремлений. Таким образом, Игра стеклянных бус имела большое значение для полного и окончательного преодоления фельетонизма, а также для пробуждения той новой радости чётких и виртуозных упражнений интеллекта, которой мы обязаны возникновением новой дисциплины духа прямо-таки монашеской строгости. Мир преобразился [Гессе 1969: 55].

У нас были основания считать, что Касталия – это про нас. Новая дисциплина духа, особый язык (как часто щедровитян упрекали за «птичий язык», недоступный для непосвящённых способ выразиться!), агрессивная виртуозность анализа любых обсуждаемых проблем, даже мирской аскетизм и спортивность, отмеченные Кнехтом как черта адептов Игры, были узнаваемыми характеристиками нашего семинарского образа жизни. Если сказать проще, по-земному, Московский методологический кружок в те времена обеспечил нас формой внутренней эмиграции наивысшей пробы.

Вот теперь я говорю – «мы». Но речь не о философском поколении, отнюдь! О тех, кто пришел, но не ушёл. Кто был увлечён и остался работать в семинарах. Люди разных специальностей и возрастов. Инженеры и научные работники, архитекторы и геологи, психологи и дизайнеры, социологи и спортсмены, географы и лингвисты... – кого только не встретишь! Потрясающее разнообразие. Никаких привилегий, социальных или других, принадлежность к кружку не давала, диссертации защищать не помогала. Нормальные люди двигались нормальным путём: от профессионального обучения к подготовке дипломной работы, потом – тем или иным способом к диссертации, устроившись на работу по специальности, занимали по возможности пристойные функциональные места. Обычные, проверенные правила успешности «социального лифта». Методологов, живущих иначе, до сих пор сравнивают с сектой, что можно понять, если судить по внешним признакам. Щедровитянство – клеймо, отмечающее, скорее, нечто внеинституциональное, маргинальное, теневое, underground.

Чем же занимался Московский методологический кружок? Почему люди самых разных специальностей и профессий приходили на заседания ММК сначала из любопытства, замороженные пассионарностью его лидера, а потом становились его постоянными участниками? Кружок поначалу работал, выдвигая задачу выделить базовые операции мыслительной деятельности. Это делалось как на материале психологических исследований, так и на материале истории науки (проводился анализ «Начал» Эвклида, построений Аристарха Самосского,



а также понятие скорости у Галилея). Но главная цель семинаров – обучение всех рефлексивному анализу. Рефлексии (осознанию действий и построению норм) подвергался каждый шаг совершаемой мыслительной акции: номинация, дескрипция, перенос опыта, постановка задач и смена целей, изменение самой аналитической позиции и т.п. Понятно, что подобная практика рефлексивного мышления могла пригодиться в любой сфере профессиональной деятельности.

Кто бы мог представить, что через десять лет слово Игра перестанет быть метафорой и обретёт социальную плоть! Правда, теперь щедровитяне покинули лоно традиционной филологии и науки, сосредоточив внимание на решении задач практического характера. В 1979 году Георгий Петрович провёл первую в стране легальную Оргдеятельностную игру, и она была посвящена проблеме разработки ассортимента «товаров народного потребления для Уральского региона» [Щедровицкий 1995: 119]. ОДИ стало символом нового этапа в развитии методологического мышления. Такие специально организованные Игры успешно работают и оказались той базовой платформой (выражаясь современным технологическим языком), на которой проводятся сегодня обсуждения любых социально важных вопросов практического характера. В сущности, возникла мощная отечественная школа управленческого мышления. В прежние времена, прибавим, не было даже мысли об управлении социальными процессами. Советским обществом в любых его подразделениях и проекциях полагалось руководить! Оказалось, что между *dirigere* (директорством) и *manage* (управлением) лежала непреодолимая идеологическая пропасть!..

Но меня, «семинаристку до мозга костей», такой поворот уже не увлёл.

### ***Быть, а не казаться: сдвиг проблем***

Мысль выражена в словах, невербализованного мышления не существует. Благодаря словам, можно фиксировать акты мышления. Но ведь слова – ловушка, даже не потому, что «мысль изречённая есть ложь», а потому что только редко слова бережно несут мысль. Именно этого страстно добивается научное мышление, пробиваясь к реальности. Как же сделать слово «предметным»? Какими процедурами? Да и всегда ли получится? «Есть речи – значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно...»

Годы ученичества напитали меня, как губку, самой разной информацией и опытом. Настало время – чего? Не впасть в «кажимость», стараться «быть», найти собственное, не заимствованное профессиональное бытие. Пустословы кругом, а я сама?

На это душевное смятение ложилось, как серая бетонная плита, огромное психологическое потрясение. В начале 70-х дошёл до меня «Архипелаг ГУЛАГ». Кто принёс – не помню, читать, как всегда, надо быстро, сразу передать другому. Буквально со стонами и временами закрывая глаза, чтобы не видеть безжалостных строк, одолела первый том. Возникло большое искушение дальше не читать, невозможно читать. Но стало стыдно: ведь люди доверили писателю, такому же ээку, свои истории, он хранил их в памяти, чтобы, когда сможет, записать и всем рассказать, а я в своей тёплой квартирке – читать не хочу? Расстраиваться не хочу?! Преодолевая себя, прочитала всё. Состояние было просто суицидное. Помню, как в те без проблеска солнца предзимние времена поднялась по ступенькам из подземного перехода на углу «Националя» и увидела молодого человека, который стоял, странно покачиваясь, на углу Моховой и смотрел на проносившиеся в опасной близости автомобили. И я, понимая его состояние, подумала: «Прочитал “Архипелаг...”».

Как это отразилось на моих профессиональных занятиях? Меня как озарило: «Недомыслие – преступно. Здесь будет мой сторожевой форпост». Тематически я занялась методологической разборкой процедуры исторической реконструкции. Как раз пришло моё время выступить с большим докладом на семинаре ММК (Учитель счёл, что я «созрела»). Обсуждение проходило 8 понедельников по 3 часа каждый раз (стандартное время заседания). До-

клад назывался «От Фихте к Гегелю» и был схематизацией основных тезисов моей дипломной работы. Кстати сказать, дипломную мою на факультете признали весьма удачной и перспективной, хотя один из оппонентов на защите остроумно заметил: «Это ж надо – изобразить “Феноменологию духа” в виде радиосхем! Но получилось интересно».

Конечно, я сумела высказать половину, если не меньше, того, что хотела сказать (может, оно и к лучшему). Однако уже в первой части содержался совсем неплохой поворот рассмотрения этой динамики, который у щедровитян получил прозвище «рожок Кузнецовой». Идея состояла в том, что когда формулируется новая идея (а это Фихте, преодолевающий Канта с теоретическим его трансцендентализмом), то возникают довольно слабые её представления, а когда представления постепенно улучшаются и систематизируются, то идея как бы «выдыхается». Это действительно в рисунке похоже на рожок. Тезис состоял в том, что у Фихте была очень сильная идея (деятельностного развития), но хилые её разработки (представления), зато у Гегеля – шикарная система представлений, но идея уже далека от исходной и безнадежно ослабела: система стала замкнутой (дракон пожрал свой хвост), развитие Идеи прекратилось в логически безупречной выверенной Системе категорий. Когда я познакомилась с концепцией Имре Лакатоса (что случилось вскоре), то с удовольствием опознала собственную конструкцию: конечно, жёсткое ядро исследовательской программы остаётся инвариантным, пока есть возможность постепенно улучшать его теоретические построения. А потом «жёсткое ядро» выдыхается, начинается «регрессивный сдвиг проблем». что плохо для всей исследовательской программы.

Кроме того, Учитель указал мне, что настоящий адепт Игры, который стремится стать Магистром, должен, помимо прочего, открыть собственный семинар. Я была озадачена: где же я, мнс без степени, возьму учеников? Но исхитрилась завлечь к себе на домашний семинар нескольких студентов-философов. Года три мы старательно интеллектуально упражнялись, своей исследовательской программы я не предлагала. По очереди докладчики рассказывали о темах, которые были предметом их интересов. Сама я выступала наряду с другими, правда, по принципу: если докладчика нет, доклад делаю я. Так что выступала я часто. Могу ли я назвать участников того домашнего семинара своими учениками? Нет, не могу, у всех свои темы и проблемы. Среди них несколько блестящих исследователей, имена которых сегодня широко известны философскому сообществу. Были и другие созданные мной семинары: много лет шел такой с аспирантами ИИЕТ, два года собирался домашний философский кружок по просьбе студентов почвенного факультета МГУ, с энтузиазмом проводили мы «выездные школы» молодых специалистов ИИЕТ и МГУ, что очень поощрялось комсомолом в 80-е годы. Мне всегда хотелось всё и вся обсуждать. Но помогла ли я им? Воспитала ли? Очень сомневаюсь, хотя в чем-то, вероятно, и повлияла, как Вероника Александровна когда-то повлияла на мою траекторию, тем воспитала и помогла.

Меня рекомендовали для поступления в дневную аспирантуру, что было очень почетно, но я опять осталась «маргиналом». Не было сил сдавать в очередной раз положенные экзамены. Я вообще возненавидела традиционную студенческую дрессировку в виде сессий, зачётов и экзаменов. У меня всё хорошо получалось: по молодости память хорошая, склонность к схематизации смысла прочитанного и услышанного тренирована в ММК. Но, как говорится, «easy come, easy go». Экзамены идут в сжатые сроки: то, что освоил, надо отодвинуть и даже забыть, чтобы быть успешной на следующем испытании. А если засомневался или задумался над прочитанным – вообще конец, будешь мямлить во время ответа. Строго говоря, философское образование надо было получать заново, уже не по-школьному.

Стала более пристально вглядываться в работу сотрудников ИИЕТ: ведь они занимаются историко-научными реконструкциями. В чем специфика реконструкций в области историко-научных исследований? Возможна ли здесь история в том смысле слова, как это понимается в гражданской истории?

А институт к 70-м годам кадрово расцвёл. К нам на работу массово устраивались «подписанты», которым как «штрафникам» было не место в идеологически выдержанной системе научных институтов и вузов. Так моими старшими коллегами и друзьями стали Пиама Гайденко, Саня Огурцов, Игорь Алексеев, чуть позднее Мераб Мамардашвили. Директор ИИЕТ, большевик с 1918 года, академик Бонифатий Михайлович Кедров с весёлым удовольствием принимал их на штатные должности. В ИИЕТ уже работали Боря Грязнов и Толя Ахутин. Появилась группа «системников» – опальный, такой необычный Эрик Юдин, Игорь Блауберг, Вадим Садовский, Эдик Мирский. Заблестала творческая звезда поэта и «алхимика» Вадима Рабиновича. Выходила на сцену яркая молодёжь – Витя Визгин, Виталий Горохов, Андрей Игнатъев, Андрей Юревич. Их имена вошли в философские энциклопедии и справочники, все их знают. Это и был ближний круг моего общения. Права была Андриевская: такие «аспирантуры» проходил не каждый. Повезло мне! Если признавали «своим», сразу переходили на «ты». Так было и в ММК. Учитель Георгий Петрович Щедровицкий, уже когда мне было 19, стал «Юркой», просто «Георгием» и даже именовался порой внутрисемнарским прозвищем – Федор. Заочно – кратко и узнаваемо – мы называли его ГП.

Философов скопилось так много, что заместитель директора ИИЕТ Семен Романович Микулинский решил использовать их для благой научной цели – обсуждению методологии историко-научных исследований и построению новой дисциплины – науковедения. Наука о науке была модной международной темой. Переводились зарубежные работы (знаковая книга «Наука о науке» вышла в свет в 1962 году, русский перевод в 1964-м). В 1966 году во Львове прошла первая советско-польская конференция по науковедению (моя первая научная командировка). Слова «интернализм и экстернализм», внутренние и внешние факторы развития науки, имманентная логика науки – освоенный дискурс проблематики. В декабре 1973 года в Обнинске состоялся первый симпозиум по методологии историко-научных исследований (программу составил Борис Семенович Грязнов), и мы дружной ииетовской компанией отправились туда, предвкушая интеллектуальный праздник. И не ошиблись! Среди приглашённых, кроме своих, были такие москвичи, как Юра Давыдов (для нас он – муж нашей Пиамы), Володя Швырев, Борис Дынин, вскоре ставший эмигрантом, а также иногородние – Саша Славин из Смоленска, Слава Стёпин из Минска, Миша Горбунов из Свердловска, Миша Розов из новосибирского Академгородка. (Как принято в весёлой и доброжелательной атмосфере, в первый же день почти все философы перешли на «ты».) Щедровицкого пригласить не удалось, но он напутствовал меня: «Работать, во всё вмешиваться и показать, как методолог может работать!» Так что я была, что называется, ангажирована. Задание выполнила: всего было выслушано 9 докладов, в обсуждениях я выступила 8 раз, не реагировала только на доклад Дынина (я задумалась и фактически пропустила сказанное мимо ушей).

Все доклады будоражили, будили, куда-то звали. Обсуждение было напряжённым в лучшем смысле слова. Но особенно поразил меня доклад Розова о рефлексии. В ММК мы постоянно говорили о рефлексии, оттачивали мастерство «рефлексивного входа и выхода», спорили о рангах рефлексии и т.п. А докладчик заявил, что первоочередная задача – изучать рефлексия, а не рефлексировать. В особенности если ты историк науки или гносеолог. Я встрепенулась от такой дерзости и в кулуарах бросилась «выяснить отношения». «Как же так? Методология – это инженерная, деятельная позиция, а ты призываешь смотреть на происходящее со стороны, просто изучать, а не изменять?!» Докладчик улыбнулся: «Да, да, прежде всего изучать, ведь надо знать, что происходит в познании, а не подменять объект изучения собственной рефлексивной работой!» Это было сказано с такой спокойной простотой, что я, будучи ошарашенной, вдруг почувствовала, что тоже хочу просто изучать, а не переделывать познавательные практики. Тогда теории социальных эстафет Розова ещё не было, даже в контурах. Но я уже изменила Учителю (ведь Цветаева предупреждала, ученик идёт «за плащом, лгушим и лгушим...»). Я враз отказалась от инструментария ММК и вступила на очень тёмную тропу новых позиций и представлений, которые ещё надо было со-

здать для эпистемологии и философии науки, отказавшись от языка научной рефлексии, в которых были проверенные «эмпирические факты», «наблюдения» и «измерения», «абстракции» и «обобщения», «эксперименты» и «теории». А что взамен? Как говорить и исследовать, если нет доступного языка?.. Это опять был путь маргинала, даже более крутой. Но безумно увлекательно чувствовать себя первопроходцем.

К счастью, как вскоре выяснилось, постпозитивисты (как отдельные переводы, так и ещё не переведённые работы все же дошли до нас уже в 70-е годы) многое поняли в дескриптивном повороте эпистемологии и позволили не чувствовать, что занимаешься «отсебятиной». Именно с конца 1973 года моё профессиональное бытие стало повседневной жизнью, а жизнь прогибалась под интересы профессии. Отныне эпистемология (слово, которое постепенно заменило привычное глазу и слуху «гносеология») и философия науки, а также детально прослеживаемая методология историко-научных исследований стали моими постоянными темами и разработками.

### *Небо августа*

Когда впрямую спрашивают, какие люди (философы и нефилософы) меняли ситуацию в нашем мышлении и деятельности, понимаешь, как трудно ответить на такой вопрос. Многие имена я уже назвала. Но чем больше погружаешься в прошлое, тем больше появляются в памяти лица и слова тех, кто совершал знаковые для нас поступки и определял ценностные выборы. Поэтому мне хочется воспользоваться метафорой.

Очевидно, что мы жили в переходную эпоху, «эпоху перемен», в которую китайская мудрость не советует попадать. Да разве ж то зависит от живущих? Постепенно прояснялось, куда плывём, в чем состоит переход, но это позже. В Подмосковье август – самый наблюдаемый переходный период, от красок лета к осеннему разноцветию. В августе устанавливаются тёмные ночи и на редкость ярко светится звёздный небосклон. Ни осенью, ни зимой такого не увидишь; несмотря на рано наступающую темноту, звезды видны плохо. А в августе ещё и звёздный дождь глазами поймать – Персеиды и Аквариды чиркают над головой, как огнивом, пугающе близко.

И потому кажется, что 60-е и 70-е годы, на которые пришлась моя юность, – это Август интеллектуальных перемен. Уверена, что видела в своей жизни целые россыпи «звёзд». Такие разные в своде времени и пространства: некоторые стоят совсем отдельно и светят ровно и надёжно, некоторые тревожно мигают, а некоторые образуют уникального рисунка «созвездия». Возможно, благодаря Щедровицкому, который для меня сразу «смазал карту буден», я остро воспринимала неповторимость каждой «звезды».

«Созвездия» образованы домашними и иными неформальными семинарами. Я сказала, как смогла, об ММК, о дружеской сутолоке ИИЕТа. Меня допускали в маленькую квартиру у «Речного вокзала» и на дачу в Раздоры на семинар Владимира Соломоновича Библиера (Леня Баткин, Светлана Неретина, Вадим Рабинович и Толя Ахутин были в ареале моего общения). Я наслышана о легендарном домашнем семинаре Михаила Яковлевича Гефтера, повернувшего мышление историков, и жадно расспрашивала его учеников. Я старалась посетить почти все интересные «квартирники» тех лет, а их было немало.

Отдельные звезды светят по-своему. Мы, как могли, старались не пропустить выступлений и докладов Сергея Сергеевича Аверинцева, но как объяснишь, чем это было столь поучительно? Он умел передавать тончайшие оттенки мышления «иных» (прошлых) времён. Из Института философии на философский факультет изредка попадали потрясающие преподаватели, с поразительно доброжелательным терпением направляющие нас в русло истории философии без поисков опостылевшей борьбы «хорошего» материализма и «плохого» идеализма. Живые контексты убивали смыслы классических текстов, даже Фейербаха и Маркса. Историко-философского образования на факультете не было, в читаемых учебниках и книгах находили в лучшем случае ряд интересных цитат Ницше, Бергсона или современных «бур-

жуазных» философов. Хоть страницы выдирай, остальное – мусор. Для знакомства с Фрейдом, Бердяевым и Шестовым приходилось подпольным образом делать ксероксы (сколько их, сегодня бесполезных, скопилось в моей библиотеке!). Для меня стали счастливыми встречи с Нелей Мотрошиловой и Володей Швыревым. Их статьи мы читали, зная, что эти – не обманут. Печальные от одиночества глаза Эвальда Ильенкова, и – всегда завораживал тревожно-страстный текст его публикаций. Было что-то в этой стилистике от музыки Вагнера, которого Ильенков очень любил, и мы об этом знали. Афоризмы Эриха Юрьевича Соловьева дарили ёмкие формулы ценностных ориентаций. Как забыть его дефиницию: «Интеллигент – это человек, сознание которого не определяется его бытием». Каким откровением была его книга о Лютере! С его именем связано столь важное представление о «неклассической» философии XX века, которое позволяло обнаружить, как можно и нужно выглянуть за границы обязательного мышления. Блистательные карикатуры и фразочки Александра Зиновьева позволяли смеяться тогда, когда «не смешно», и противостоять мороку окружающей бессмыслицы. Восхитительно артистичный «советский европеец» – Михаил Константинович Петров (прилетавший из Ростова-на-Дону на интересные философские сборища), чья эрудиция не мешала в любом выступлении и публикации выдвигать преоригинальные гипотезы. Владислав (Владик) Лекторский умел держать повестку «трепещущих» проблем философской (не советской!) гносеологии, наглядно выкладывая «неувязки» уже сформулированных решений.

Мне кажется, что послевоенное философское поколение было на редкость талантливым, и просто грех называть тех, кого я упомянула, «советскими философами».

Среди профессиональных журналов самым показательным были «Вопросы философии», именно на его страницах изредка появлялись островки философской оттепели. И это как бы давало право остальным двигаться в указанном направлении: всё-таки главный «компас» идеологических сдвигов!.. Очень важными были ксерокопии дореволюционной философской литературы. (О, это было целое особое производство: заказать кому-то, кто не имел право это делать, но имел доступ к аппарату, заплатить тайком немалые деньги.) Потом ксерокопии старались отдать в переплётную мастерскую, и тогда они, уже как настоящие, достойные издания, занимали своё почётное место в книжном шкафу и становились доверительными собеседниками. Кое-что важное из зарубежных статей добывали на языках оригиналов и худо-бедно сами переводили. Остальная конкретика добиралась чтением «толстых» литературных журналов, книгами братьев Стругацких, зарубежной фантастики и, конечно, самиздата. Мир, включая круг чтения, был достаточно тесен для искавших выхода из плена советского руслу мышления. Создаётся впечатление, что все, бродившие в таких поисках, были знакомы, хотя бы опосредованно. Кажется, мы все думали в одном ключе и были в единой волне главных оценок. Совпадали не просто слова, но даже интонации. Ведь «другие» в наш «каррасс» не допускались. Можно сказать, что слово «каррасс» было паролем, а «Колыбель для кошки» – логином для входа в круг таких «бродивших».

Не могу не вспомнить самым светлым образом Николая Федоровича Овчинникова (1915–2010). Мудрый, добрый наставник ещё с детства – дядя Коля. Он познакомился со мной, когда мне едва исполнилось 4 года, позднее мы работали в одном секторе ИИЕТ. В институте его очень уважали и по-домашнему называли НикФёд. Тоже опальный, хотя не «подписант», был он одним из немногих беспартийных философов. Каким-то «недоглядом» его допустили для преподавания «философских проблем естествознания» на физфак в МГУ. Овчинников пришел в ИИЕТ, когда получил публичную «взбучку» от КГБ за своего юного друга-физика, который организовал в 1970 году скандальный философский диспут в МГУ и который был осуждён на 8 лет за «измену Родине». Дима Михеев вышел досрочно и потом как-то ухитрился эмигрировать. Потянулось «дело Овчинникова». К обвинению карающих органов присовокуплялись найденные при обыске на квартире НикФёда ксероксы книг Бердяева. К счастью, обыском, пристрастными допросами и гнусной газетной статьёй «дело» ограни-

чилось. Однако Институт философии и МГУ пришлось покинуть. Академик Кедров «приютил» и НикФёда.

Дома у Овчинникова тоже проводились семинары. К примеру, один год мы штудировали там «Философию природы» Гегеля, пытаюсь разглядеть, насколько гегелевские категориальные схемы соответствуют логике работы нормального физика. Но главное – в его гостеприимном доме на «посиделки» собирался целый клуб интересных людей, в основном из научной среды: физики, геологи, математики, географы. Там однажды встретила я легендарного физика, близкого друга легендарного Ландау Юрия Борисовича Румера (сиделец «шарашек» с 10-летним сроком плюс пять лет «поражения в правах»). Навсегда запомнила, как он, протягивая по очереди всем присутствующим руку, говорил: «Пожимайте, пожимайте эту руку, не стесняйтесь. Теперь у вас всего одно промежуточное рукопожатие с Эйнштейном, Гейзенбергом и Бором!» НикФёд для меня – это блистающий мир поэзии Пастернака и Окуджавы, а также знакомство (почти личное) с Карлом Поппером. Именно Овчинников подарил мне английское издание «Logic of Scientific Discovery», и одна из моих студенческих курсовых работ – перевод первой главы этой замечательной книги.

Скажу ещё два слова о своей журналистской школе. Уже упоминала об удивительных радиожурналистах Игоре Дубровицком и Лилиане Комаровой, которые в середине 60-х создали клуб подростков – Совет радиопередачи «Ровесники». (Пронзительные воспоминания о «Ровесниках» сравнительно недавно написал журналист и писатель Дмитрий Быков, они есть в Сети.) Какую атмосферу этот клуб создавал для подростков, чем учил? Можно сказать просто: передавали гуманистические идеалы, которые были далеки от советских или коммунистических. Человечность – понятие неклассовое, стало понятно тогда. Важно и то, что мы, ещё дети, брали микрофон в руки не для стихийного самовыражения, но чувствуя свою ответственность за каждое произнесённое слово. К тому же важным было звучание, тональность. Ещё одно созвездие талантов – школьный отдел «Комсомолки», где Симон Соловейчик провозглашал «педагогику сотрудничества», в отличие от воспитательной дрессировки пионерии и комсомола. Моя близкая подруга Лена Воронцова из этого отдела и ее муж Анатолий Стреляный (сельский отдел) были для меня проводниками в литературу самиздата и формирования ясного социального мировоззрения: что есть «правое» и «левое» в политике, кто такие «западники» и что отстаивают «писатели-деревенщики», что есть демократические институты и что может быть нравственным компасом в водовороте социальных перемен. Одно время под их влиянием возникло искушение уйти из философии в журналистику, но интуиция, к счастью, удержала от такого шага. Журналисту, как я почувствовала, рано или поздно предстоит стать политически ангажированным, занять гражданскую позицию и быть ей верным, а я хотела охранить своё мышление от любой, даже «передовой» идеологии. Однако уверена, что воздействие таких журналистов было ощутимо и значимо не только для меня лично.

Говорят же: «чем ночь темней, тем звезды ярче». В августе в наших местах ночи тёмные, а звезды яркие. Звезды были в нашей жизни!

### *Со скоростью потока*

Однажды инспектор ГИБДД преподнёс мне урок великой житейской мудрости. Я шла по трассе, где стоял дорожный знак, ограничивающий скорость до 60 км в час. Явно проклинающая мою неспешность, шли на обгон автомобили, у которых на спидометре было не менее 100 км, а то и более. Дорога незнакомая, я побаивалась неожиданностей и ускорила движение только до 80. Инспектор остановил меня и, отметив нарушение скоростного режима, выписал штраф. Я не спорила, но мимо с прежней лихостью двигались другие водители. «Они мчатся гораздо быстрее положенного!» – попыталась я возразить. «Идти надо со скоростью потока, и тогда никто вас не оштрафует!» – вполне серьёзно возвестил инспектор.

Когда спрашивают о различии философских поколений, то вспоминаю не столько о «духе времени», сколько о «скорости потока». Нечто безличное, что пытаюсь осознать. Ясно одно: время не циклично, оно – ранящая стрела; воспроизводство деятельности и поведения порой сходит на минимум. Особенно с трансляцией ценностей возникли, мягко выражаясь, трудности. И у нас была проблема «отцов и детей», но к началу XXI века разрыв поколений стал по-настоящему болезненным. Вот характерный разговор. Как-то совсем недавно мы с моим коллегой (философ моего поколения) спросили у молодого человека (философ рождения 90-х годов): «Ты читал “Архипелаг ГУЛАГ”?» Ответ был краток и убийственно равнодушен: «Нет». – «А будешь читать?» – «Не интересно». Более лаконично, кажется, нельзя сформулировать то, что нас отделяет, как говорится, навсегда.

Уже на моем домашнем семинаре 70-х годов я заметила, что интересы студентов смещаются в сторону историко-философской работы. Изучение иностранных языков стало первоочередной задачей. При этом речь шла не просто о знании европейских языков, но и гимназической классики – латыни и древнегреческого, которые на факультете не преподавались. Появились и первые молодые философские китаисты, японисты, индологи, арабисты. Изучение таких языков и культур было очень трудоёмким делом. Мне это нравилось и казалось здоровой тенденцией – найден свой уход от «советского», форма надёжной эмиграции в сторону от идеологии к реальной предметности. Очевидно, что самые талантливые теперь специализировались в смысле образования и дальнейших исследований на кафедрах истории философии или «критики современной буржуазной философии».

В 80-е годы выяснилось, что интересы слушателей переменялись почти карикатурно: теперь они хотели узнать (скажем, в курсе философии науки) не столько о научном познании и о том, как оно устроено, сколько о том, что думают об этом современные реально работающие западные философы (Поппер, Кун, Лакатос, Фейерабенд и др.). Вопросы из аудитории относились исключительно к уточнению таких деталей. Но и это казалось нормальным: железный занавес помаленьку поднимался!

Росла политическая ангажированность, и уже в 1990 году американский профессор заметил: «Здесьняя жизнь стала гораздо интереснее, живее, но одновременно многие коллеги показались мне “растренированными” в мышлении, особенно в формальном. У вас всех, вероятно, слишком много времени уходит на политику» [Лефевр 1990: 51]. Опьяняющая свобода чтения и самовыражения привела к тому, что порой иные тексты или прослушанные доклады мне хотелось отправить в «вытрезвитель». И всё же чувство подъёма не уходило; казалось, что разворачиваются типичные «болезни роста» и они непременно пройдут сами собой.

В нулевые годы возросла агрессивность молодых людей по отношению к старшему поколению, к тем, которых они считали «советскими». Теперь активная молодая часть поколения уже не просто изучала языки, но имела стажировки для обучения за рубежом, контракты на работу, могли там защищать диссертации. Русский философский язык отступал на задний план, стал непрестижным. Я бы даже сказала, перестал развиваться, а попросту заимствовал. Наступила для философского сообщества такая «петровская эпоха», когда опознание явлений происходило исключительно в сленге западных языков: вместо «внедрения» или «заимствования» следует сказать «интервенция»; не «восприятие», а «рецепция»; не «представление», а «репрезентация», не «случай», а «кейс»; вместо «терпимости» – «толерантность» и тому подобное. Модная социология знания привела к тому, что любые теоретические идеи, в особенности собственные, подвергались «разоблачению». Я сталкивалась с тем, что мой осторожно заданный вопрос на конференции по социологии знания привёл докладчика в ярость. Он отказался отвечать и публично заявил, что такие, как мы – советские философы, – вообще не могут судить о том, что происходит на переднем фронте современной философии. Мне оставалось только пожалть плечами.

Нет сомнений, что вновь наступила «фельетонистическая эпоха», но уже с другим ландшафтом. Действуют правила, установленные отнюдь не научным сообществом. Тем не

менее они вошли в плоть и кровь действующих лиц. «Гамбургский счёт» заменён «индексом Хирша» и «рейтингом». Недавно один аспирант искренне поинтересовался: «А как же Вы могли выбрать вуз, если не был известен его рейтинг?» Публикации на русском языке не повышают ни твой личный рейтинг, ни заработную плату. Жёсткие правила WoS и Scopus привели к отказу от прежней неповторимой авторской стилистики в публикациях. Да и всего журнала в целом. Считается, что оригинальные идеи пахнут «отсебятиной», которая недопустима. К тому же творческая плодотворность оценивается публикационной активностью, и подмену понятий считают естественной в эпоху взбодрившейся как никогда наукометрии. Статистические замеры определили русла исследовательских проектов. Нынешние квалификационные работы и большинство читаемых мною статей напоминают более или менее стройные пазлы, собранные из отдельных готовых кусочков зарубежных исследований. Характерно, что на собеседовании в процессе приёма в философскую аспирантуру комиссия интересуется у претендента прежде всего знанием иностранных языков, а уж потом подбирает тему. Чудится мне, что в сообществе резко ослабла, выражаясь языком Мишеля Фуко, «воля к истине».

Я не называю имён, ведомств, инициаторов – процесс давно стал безличным и совершенно очевидным. Как встроиться в такой поток, идущий с очень высокой скоростью? Я, конечно, привыкла быть маргиналом, но теперь это грозит реальным увольнением и исключением из профессиональной жизни. Иначе говоря, нарушение «скоростного потока» карается уже не «штрафом», а лишением «водительских прав». Правда, отдельные институции пытаются сдерживать скорость изменений и по возможности придерживаться здравого смысла. Но на самом деле это даётся нелегко. Встречаются, конечно, социальные оазисы – например, философский факультет РГГУ, где я в данный момент работаю. О других судить не берусь.

Хорошо известная типология антрополога Маргарет Мид делит общества на постфигуративные, кофигуративные и префигуративные. Данная типология удачно схватывает основные черты каждого социального «потока». Моё философское поколение начинало свою работу в постфигуративную эпоху, что порождало неявные правила, свой личный отказ от прошлого, которое нельзя было отменить наяву. 90-е годы стали кофигуративной эпохой, где мы, сверстники, коллеги и друзья, ещё могли обмениваться опытом адаптации к ворвавшейся в наш быт компьютеризации. Но двадцатилетие нынешнего столетия – эпоха обвальности префигуративности, где молодое поколение рулит установкой новых ценностей, практических ориентаций, технологии работы, оценок успешности. Это не слишком проявляется в студенческой аудитории, но далее «успешная» молодёжь в философском сообществе задаёт такие параметры «карьеры ума» (выражение Стивена Фулера), которые их вузовским учителям даже не снились. У таких ребят, думаю, есть все основания считать, что «преподы», принадлежащие прежним поколениям, учили «не тому». Похоже, азарт молодости обязательно напишет «антисценарий» по отношению к ушедшей со сцены эпохе.

\* \* \*

Мои заметки сугубо субъективны – как иначе? Однако я честно пыталась ответить на заданные вопросы и обозначить то, что вспыхивало как угольки, раздуваемые ветром. Иногда получалось слишком резко. Переживания никак не могут стать «объективными». На самом деле нелепо жаловаться на то, что следующее десятилетие оказывалось не таким, как ожидалось. Ступени исторического развития – гегелевская иллюзия. Возможно, что ступени присутствуют в личностном развитии, когда постигаешь секреты профессионального мастерства. Но ход в будущее не лесенка вверх. История скорее случайна, чем закономерна, процесс открытый, петлистый, потому неминуемо прогнозы не сбываются, связь времён распадается. Это нормально. Территории личных воспоминаний прекрасно это показывают.



---

Вероника Андриевская... 2016. *Вероника Андриевская*. – М.: Русский биографический институт: Институт экономических стратегий.

Гессе Г. 1969. *Игра в бисер* / Пер. с нем. В. Розанова; под ред. С.С. Аверинцева. – М.: Художественная литература.

Лефевр В.А. 1990. «Непостижимая» эффективность математики в исследованиях человеческой рефлексии (интервью). – *Вопросы философии*. – № 7.

Философские поколения... 2022. *Философские поколения* / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. – М.: Издательский Дом ЯСК. – 1232 с., ил.

Щедровицкий Г.П. 1995. *Избранные труды*. – М.: Школа Культурной Политики.